



## А. БЕНУА

### Художественные письма

Москва и Петербург

Странный журнал «Золотое руно». Никак он не может наладиться, никак не может взять настоящий тон и выдержать его. Руководит им московская молодежь с причудником Н. П. Рябушинским<sup>1</sup> во главе, и хочется им во что бы то ни стало быть самыми крайними, самыми дерзкими во всей русской жизни. Но, с другой стороны, их прельщает мысль тягаться с покойным «Миром искусства», и они претендуют на большой энциклопедизм, ударяются и в историю, и в философию и пытаются устанавливать какие-то абсолютные точки зрения.

Это впряжение разнородных элементов могло бы служить и для вящей значительности издания, если бы элементы эти не спорили и не дрались на его же страницах. Но именно редакции «Золотого руна» не хватает того огромного мастерства, которое требуется в управлении такой печатной «академией всех свободных художеств». Редакция никак не может справиться с сотрудниками и лавирует так неловко, что с каждым поворотом попадает на мель или наталкивается на камень. Завелся даже такой порядок, что ежегодно из состава сотрудников выходит ряд лиц, иногда в одиночку, а иногда и целыми группами.

Нынче случилось то же самое, но в размерах необычайных. Из сотрудников ушли едва ли не все петербургские художники и некоторые москвичи (Серов, Бакст, Бенуа, Билибин, К. Сомов, Добужинский, Остроумова, Лансере и др.)<sup>2</sup> и слышно, что с ними уйдут и многие литераторы. Поводом к этому послужила статейка о выставках какого-то М. Л., в которой обнаружилось невежество, совершенно компрометирующее руководителей журнала и накладывающее на все дело хулиганский оттенок.

Заранее можно быть уверенным, что и этот урок не послужит в пользу «Золотого руна». Редакция сочтет уход сотрудников за

последствие личных обид на критику, будет отстаивать независимость своего мнения, будет жаловаться на трудность, сопряженную с объявлением «правды в глаза», и по принятой привычке — залюбуется своей собственной дерзостью, обдавая презрением отпавших. Благо «Золотому руну» не приходится считаться с общественным мнением. Издается оно на неисчерпаемые средства прихотливого дилетанта, принадлежащего к именитому купечеству и делающего все, что только «его левая нога хочет». А кружок художников, составляющих редакцию, представляет из себя кумирню, в которой все поочередно кадят друг другу и в которой самообожание и самоутверждение возведены в догмат. Связей с остальным культурным миром кружок не имеет, и все сношения с сотрудниками, не принадлежащими к сенаклу, носили до сих пор исключительно деловой характер.

Можно пожалеть о всем этом: с кончиной «Мира искусства» чувствуется потребность в каком-нибудь духовном средоточии русской художественной жизни. С каждым годом усиливается хаос в ней, путаница становится все более и более безотрадной. К розни принципиальной (вообще являющейся скорее двигателем искусства) нагромождаются глупейшие недоразумения и личные передраги. Группировки складываются не по сходству задач, а по личным симпатиям и всяким расчетам. И вот все более и более чувствуется необходимость в «академии», но отнюдь не академии — законодательнице вечных формул, а такой академии, которая играла бы роль задерживающего центра в нашем художественном организме. Нужна какая-то определенная коллективная воля, тенденция, определенный стиль.

М. Волошин<sup>3</sup>, кажется, назвал как-то центральную группу «Мира искусства» идеальной академией. Была ли она идеальной, — трудно судить нам, причастным к ней. Но ее преимущество перед разудалой вольницей «Золотого руна» очевидно, и так же очевидна необходимость создания в наше время подобной же академии. Это необходимо и для подъема упавшего во мнении общества авторитета русского искусства, это необходимо и для самого развития русского искусства. Пора прекратить дилетантское блуждание и следует снова искать какие-то вехи, выбраться из дурманящей метели на какую-то дорогу.

Я думаю, что такая «академия» может возникнуть снова только в Петербурге. Москва богаче нас жизненными силами, она мощнее, она красочнее, она будет всегда доставлять русскому искусству лучшие таланты, она способна сложить особые, чисто русские характеры, дать раскинуться до чрезвычайных пределов смелости русской мысли. Но Москве чужд дух дисциплины, и

опасно, вредно оставаться в Москве развернувшемуся дарованию. «Милость Божья» вывела Достоевского из Москвы, не дала Пушкину и Толстому осесть в ней. Злой рок или непонятная для нас необходимость уготовили могилу Гоголя в Москве, задержали на слишком долгий срок в ней Сурикова и Врубеля<sup>4</sup>.

Москва — постоянная всероссийская ярмарка. Каждый раз, когда я бываю в Москве, мне первые дни кажется, то вокруг стоит оглушительный стон торговли. Принято говорить, что Москва — засыпающая от древности старушка, что это — большая деревня. Это обманное, чисто внешнее впечатление. Действительно, по раскидистым, несуразным улицам меньше езды, на площадях меньше народу, местами Москва кажется прямо вымершим захолустьем. Но на самом деле всюду, и даже за самыми неприглядными стенами, по самым присевшим и сонным улицам идет кипучая работа, и пухнут, всходят капиталы.

В чем действительно сказывается провинциализм Москвы, — так это в чрезвычайно развитой кружковщине. В Москве «все» знают друг друга. Но это только благодаря тому, что «всех» очень мало. Нигде интеллигенция не чувствует себя такой отрезанной и обособленной, как в Москве. Миллионеров в Москве сколько хочешь, а художников, литераторов, музыкантов очень и очень мало, и они все всегда вместе друг у друга на глазах. Ничего не стоит в один день повидать «всех» в Москве: стоит только пойти на какое-нибудь собрание или концерт, и там непременно встретишь «всех».

Эти московские «все» имеют большие преимущества перед петербургскими «всеми». Они питаются специфически живительным воздухом Москвы. Сравнительно с петербуржцами они и смелее, и ярче, и, пожалуй, здоровее. Но беда в том, что они всегда варятся в собственному соку, что и мало их вообще, да и это их небольшое количество, обособленное от больших масс общества, разбито на ряд враждебных кружков, косящихся друг на друга и подозревающих друг друга в кознях и мерзостях. Стоит только почитать полемику одних передовых журналов Москвы между собою, чтобы убедиться в этом.

Напротив того, Петербург угрюм, молчалив, сдержан и кортекен. Он располагает к крайней индивидуализации, к выработке чрезвычайного самоопределения, и в то же время (в особенности в сопоставлении с Москвой) в нем живет какой-то европеизм, какое-то тяготение к общественности. Москва одарена яркостью и самобытностью, она заносчива и несправедлива, предприимчива и коварна. Петербург одарен методичностью и духом правосудия; он скромнен, с достоинством, он уважает чужое мнение, он

старается примирить стороны. Может быть, это от холода и пасмурности, но скорее это от того, что ему передалась основателем его огромная, неугасимая жажда культуры, потому что город Петра должен играть эту роль в русской истории, — служить ей уздой или рулем. Роль неблагодарная и неэффективная, но обладающая суровым величием.

Я люблю Петербург именно за то, что чувствую в нем, в его почве, в его воздухе какую-то большую строгую силу, великую предопределенность. Попадая в Петербург, москвич чувствует себя, во-первых, сконфуженным: точно на него обращены глаза стотысячного контроля или точно он попал на школьную скамью. И москвич за это ненавидит Петербург: талантливому, яркому, необузданному, пахнущему деревней, любящему приволье, — ему становится тяжело и скучно. Поскорее бы уйти, удрать и снова засесть в первопрестольной, выместить понесенные оскорбления в потоках издевательств, в жестокой, однобокой критике.

Напротив того, если чем грешит петербуржец, то это отсутствием самообольщения; его как-то с малых лет воспитывают в малом уважении к себе, к своим силам. «Ты чужой для настоящей России, где тебе сказать живое слово», — вот привет, который мы слышим постоянно. Мы прошли жестокую школу скромности и приучились быть до сухости строгими к себе. Но благодаря этому, даже в нашу эпоху разгильдяйства, петербургская культура все же как-то держится, за что-то способна стоять, что-то старается примирить, что-то построить. Она пытается умерить переоценки, подвести итоги.

И если быть новой «русской академией художеств» (не той бутафорской, которая ни к чему заседает в дивном Екатерининском храме), — а настоящей живой академии, если быть такому месту в русском искусстве, куда бы все несли свои жертвы, где бы все искали в общении с другими разгадки на трудные вопросы, где бы вырабатывались ценности, изрекались бы действительные анафемы ересям, если быть такому Аполлонову святилищу в России, — а *нужно* ему быть, — то, разумеется, место ему не в талантливой, но невежественной и несуразной Москве, а в умном, образованном и стройном Петербурге.

«Мир искусства» должен возродиться на берегах Невы (еще вопрос — в форме ли журнала или в иной форме). А «Золотое руно» может продолжать свои непоследовательности, свои прихоти и шалости на удовольствие своих издателей, но без всякой пользы для культуры России. Петербург, быть может, не увлечется, не бросится очертя голову в то или другое течение, не возведет первых попавшихся смельчаков в полубогов, не повалит

сгоряча все недавние кумиры и не станет метаться из одной крайности в другую. Но Петербург сумеет всегда разгадать подлинное дарование, направить его к толковому развитию, не угнетая его самобытности.

Неужели не устроиться в нашем городе этой живой и вполне современной «академии», не найдутся на это капиталы и силы, пропадет даром вся эта возможность? Неужели и впредь огромное наше государство будет выражать свои художественные мысли, свой вкус и увлечения в какой-то бедной имитации знаменитого дягилевского журнала (киевский «В мире искусства») да в суетливо-мечущемся, верхушки хватающем органе, существующем милостями Н. П. Рябушинского? Или уж такие мы «нищие духом»?

1909

